



О Л Д О С

ХАКСЛИ

СЕРОЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Олдос Хаксли

**Серое Преосвященство:
этюд о религии и политике**

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1941

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44

Хаксли О. Л.

Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
/ О. Л. Хаксли — «ФТМ», «Издательство АСТ»,
1941 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-134364-4

Исследование жизни незаурядного и загадочного человека, благодаря которому (или по вине которого) во все европейские языки вошло выражение «серый кардинал». Он остался в истории под именем отца Жозефа — помощника и тайного советника, неизменно стоящего за спиной кардинала Ришелье, — и сыграл ключевую роль в европейской политике периода Тридцатилетней войны. Одни считали его святым, другие — чудовищем. Следуя жесточайшим правилам монашеского благочестия и никогда ничего не желая для себя лично, он тем не менее с легкостью шел на предательства и преступления, если дело касалось государственных интересов. Кем же он был, этот преступник-праведник, твердо уверенный, что исполняет Высшую волю?..

УДК 821.111-94

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-134364-4

© Хаксли О. Л., 1941

© ФТМ, 1941

© Издательство АСТ, 1941

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Олдос Хаксли

Серое Преосвященство: этюд о религии и политике

Глава 1 По дороге в Рим

Монах шел, подвязав рясу, и голые ноги его были заляпаны грязью до колен. Весенние дожди превратили дорогу в болото. Он вспомнил, что в прошлый раз здесь было, как в печи для обжига извести. Вспомнил стихотворение, написанное им в одном из путешествий.

Quand au plus chaud du jour l'ardente canicule
Fait de l'air un fourneau,
Des climats basanés mon pied franc ne recule,
Quoy que je coule en eau¹.

В то лето 1618 года они втроем шли в Испанию. Бедный брат Зенон из Генгана умер от солнечного удара в Тулузе. А неделей позже под Бургосом отца Романуса свалила дизентерия, и через три дня его не стало. Он приковывался в Мадрид один. И теперь один должен был идти в Рим. Отца Ангелуса так замучила лихорадка, что он не мог сделать ни шагу. Да вернет ему Бог поскорей здоровье!

Ni des Alpes neigeux, ni des hauts Pyrénées
Le front audacieux
N'a pu borner le cours de mes grandes journées
Qui tendent jusqu'aux cieux.
Cher Seigneur, si ta main m'enfonça la blessure
De ce perçant dessein,
J'ay droit de te montrer ma tendre meurtrissure
Et découvrir mon sein².

«La blessure de ce perçant dessein»³, – повторил он про себя. Особенно удачная фраза. Почти латинская по своей нагруженности – похожа на фразу из Пруденция.

Капуцин глубоко вздохнул. Рана эта все еще открыта, и, подгоняемый пронзительным замыслом, он все еще шагает со скоростью пятнадцать лье⁴ в день по земле Европы. Когда будет исполнен этот замысел? Когда новому Готфриду Бульонскому дано будет взять приступом Иерусалим? Не сейчас еще, по-видимому, – не раньше, чем закончится война, не раньше, чем

¹ Когда в самый знойный час, палящая звезда превращает воздух в топку, Ноги мои не страшатся загорелой земли, Хотя я обливаюсь потом (фр.). – Примеч. авт.

² Ни заснеженных Альп, ни высоких Пиренеев Гордое чело Не прервало моих долгих странствий, Устремленных к небу. Господи, если Твоя рука уязвила меня Сим пронзительным замыслом, Я имею право показать Тебе мою болезненную рану И обнажить мою грудь (фр.). – Примеч. авт.

³ Сим пронзительным замыслом (фр.).

⁴ Лье – 4,83 км. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.

усмирена будет Австрийская династия и Франция усилится настолько, чтобы повести народы в новый крестовый поход. Когда же, Господи, когда?

Он опять вздохнул, и грустные мысли омрачили его лицо. Это было лицо человека средних лет, обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого умного лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, даже пристально. Орлиный нос мощно выдавался вперед. Длинная, неухоженная рыжеватая борода, уже с проседью, скрывала щеки и подбородок, но по полным, решительной складки губам можно было догадаться, что под нею – такая же твердая, основательная челюсть. Это было лицо сильного человека, человека могучего ума и крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.

Босой – сандалии он снял и нес в руке – монах шел по грязи, погрузившись в меланхолические раздумья. И вдруг, опомнившись, сообразил, что он делает. Кто он такой, чтобы обсуждать пути Господни? Печаль его – укор Провидению, вызов воле Божией, быть послушным которой – единственная цель его жизни. И послушание это должно быть охотным, чисто-сердечным, радостным. Печаль – грех, а значит – препятствие между его душой и Богом. Он остановился и больше минуты стоял посреди дороги, закрыв лицо руками. Губы его шевелились, он молился о прощении.

Он зашагал дальше в покаянном настроении. Природный человек, ветхий Адам, – какую неусыпную враждебность к Богу несет в себе ум человеческий и тело! Какую постоянную склонность к греху! И какую изобретательность в искусстве грешить, какую сноровку – одолев одно искушение, найти другое, предаться еще более утонченному злу. Нет средства от этого, кроме постоянной бдительности. Всегда выставлять караул, оберегаясь от козней врага. *Timeo Danaos et dona ferentes*⁵. Но есть и великий союзник – божественный друг, без чьей помощи гарнизон неизбежно погибнет. О, призови его! Открой ему ворота! Подмети улицы и укрась город цветами!

Из-за облаков вышло солнце. Капуцин посмотрел вверх и по его положению в небе определил, что сейчас начало третьего. Рим был еще в трех лье. Останавливаться некогда. Уничтожением своего «я» в сущностной воле он займется на ходу. Но это ему не впервой.

Он прочел молитву Господню медленно и вслух, затем приступил к начальной стадии упражнения – акту чистого намерения. Исполнить волю Божью, внешнюю волю, внутреннюю волю, сущностную волю. Сделать это ради одного Бога, невзирая на то, чего желает он сам, на что надеется, что может обрести в этом мире или в ином... Уничтожить себя во всем, что он думает, чувствует или делает, так чтобы не осталось ничего, кроме орудия Божьей воли и души, соединенной Божьей милостью с этой божественной субстанцией, которая тождественна божественной сущностной воле. В полной сосредоточенности он прошел шагов двести или больше. Потом слова вернулись. Открыть себя Богу, приготовить душу к Его пришествию, внимательно и с благоговением. Обратиться – отринув все планы, все чувства, мысли, воспоминания – к такому сиянию божественной любви и знания, какие Бог соблаговолит дать. И если даже Он соблаговолит не дать мне ничего, если будет Его воля оставить меня без света и утешения, все равно обратиться к Нему благодарно и с полной верой. *Qui adhaeret Deo, unus spiritus est*⁶.

– Прилепиться, – повторял он, – прилепиться.

От акта чистого намерения он перешел к акту поклонения и смирения. «Бог ради Него Самого, без всякой мысли о себе». Ибо что такое он сам? Ничто – но деятельное ничто, способное грешить и потому способное отрезать себя от Всего. Деятельное ничто, которое надо уничтожить в пассивном ничто, если должна исполниться воля Божья.

⁵ Боюсь данайцев, даже дары приносящих (*лат.*).

⁶ Кто прилепился к Богу, един с Ним духом (*лат.*). – *Примеч. авт.*

Он усердно трудился, чтобы уничтожить это деятельное ничто, и Бог не обошел его своими милостями: дал ему силу справляться хотя бы с низменнейшими проявлениями натуры, дал разумные утешения, видения и откровения и временами позволял подойти к окраинам божественного присутствия. Но при всем этом его деятельное ничто еще не сдалось; он еще не избавился от нерадивости и несовершенства, и от подлинного греха – самодовольства при воспоминании о своих трудах и о благодеяниях, оказанных ему Богом. Ветхий человек в нем умел воспользоваться даже его стараниями истребить в себе ветхого человека и, гордясь этими стараниями, способен был загубить их результаты и усилить свое сопротивление Богу. Нет, если душа не настороже все время, даже милость Божию можно превратить в камень преткновения, источник тяжких грехов и несовершенств. Сын Божий, воплощенный источник благодати – как Он объявил о своей божественности? Смирением, благоговением, любовью к Богу.

«Любовь, любовь, любовь, – повторял капуцин, – смирение и любовь, да смирится ничто перед Всем, да исполнится ничто любовью ко Всему и благоговением».

Босые ноги монаха, закрученные, как у дикаря, от хождения по земле Европы, шлепали по лужам, бестрепетно наступали на камни в такт повторяемым словам.

«Любовь, любовь Христова...» Говорили, что кардинал-племянник был оскорблен поведением посла Его Католического Величества. «Любовь Христова, любовь Христова...» Эти испанцы вечно сами себя губят своим глупым высокомерием. «Любовь, любовь, любовь...» Что ж, тем лучше для Франции. Вдруг он осознал, что слова, которые он все еще повторяет про себя, отделены от его мыслей, что пламя, которое он пестовал в себе, погасло.

«Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно».

Он отогнал кардинала-племянника и испанского посла и восстановил связь между своими мыслями и словами. «Любовь, любовь, любовь Христова...» Огонек вновь разгорелся, и он усердно поддерживал его на протяжении четверти мили. Затем наступило время действия – отказа от отвлекающих мыслей и решительного изгнания их из ума.

Кардинал-племянник и испанский посол... Больше четверти века прошло с тех пор, как отец Бенет из Канфилда научил его молиться. Больше четверти века, а сознанием своим он до сих пор не овладел окончательно, отвлекающие бесы по-прежнему сильны и порой вторгаются даже в святилище молитвы. Ничто не исцелит от этого, кроме милости Божьей. А пока что можно только изгонять отвлекающие мысли каждый раз, когда они прорвутся сквозь оборону. Если быть упорным в такой борьбе, если трудиться усердно и терпеливо, это, без сомнения, зачтется ему как заслуга. Богу ведомы твои слабости и твои старания их преодолеть.

Навстречу ему из города, звякая бубенчиками, медленно двигалась вереница вялых животных. Погонщики мулов прервали разговор и почтительно сняли шапки. Полуслепой от долгих бдений над книгами и документами монах воспринял это как смутное движение на фоне неба. Догадавшись о его значении, он поднял руку, благословляя погонщиков, и вернулся к молитве.

В той форме молитвы, к которой он привык, словесной медитации предшествовали подготовительные упражнения. Сегодня совершенством, которое он выбрал в качестве темы, была любовь. Следуя установившемуся порядку, он прежде всего обратился к Богу как к источнику любви. *Pater noster, qui es in coelo. Qui es in coelo*⁷. Бог, Вечное и Бесконечное Существо. Но когда конечное существо отдается Бесконечному Существо, Бесконечное постигается как Любовь. Таким образом, Бесконечное Существо – в то же время Отец любящий – но детей, настолько непокорных и неблагодарных, что они всегда и всеми силами стараются оградиться от Его любви. Ограждают себя от Его любви и этим отрезают себя от счастья и спасения.

⁷ Отче наш, Сущий на небесах! Сущий на небесах (лат.).

«Никакая праведность и добродетель, – шепотом повторял капуцин, – и даже вечное благо, которое есть Бог, не сделают человека добродетельным, праведным или счастливым, покуда они вне его души».

Он на миг поднял голову. В голубом разрыве неба, омытого дождем, сияло солнце. Но если опустишь веки на свету, тогда ты слеп, идешь во тьме. Бог есть любовь, но понять это вполне может лишь тот, кто сам любит Бога.

Эта мысль служила мостом между первой стадией медитации и второй, между Богом как источником любви и изъянами его собственной любви к Богу.

Он любит Бога недостаточно, потому что недостаточно отрешен от мира тварей, где должен совершать свой труд. *Factus est in pace locus ejus*⁸. Вполне любить Бога может только сердце, освященное божественным присутствием, а Бог присутствует только в том сердце, где царит мир. Он же, монах, не допущен из-за беспокойства, даже когда беспокоится о трудах Божьих. Божий труд должен быть исполнен; но если он исполнен не в покое полной отрешенности, он заберет душу от Господа. К этой полной отрешенности монах был ближе всего в те дни, когда был занят проповедью и духовным наставлением. Но теперь Бог призвал его для более трудной работы в мире больших событий, и достигнуть отрешенности становилось все труднее. Пребывать в сущностной воле Божьей, ведя переговоры с герцогом Лерма, например, или принцем Конде, весьма затруднительно. Однако переговоры эти необходимы; это его долг, их требует внешняя воля Божья. От этих дел уклоняться нельзя. И если душевный мир покидает его, когда он ими занят, – то лишь по причине его слабости и несовершенства. Высшая степень молитвы – активное уничтожение своего «я» и всех тварей в сущностной воле Божьей – ему все еще недоступна. И нет другого средства от этого, кроме милости Божьей, нет другого способа сподобиться ее иначе как постоянной молитвой, постоянным смирением, постоянной любовью. Только так войдет в него Царство Божие, исполнится Божья воля.

Пора было переходить к третьей фазе медитации – размышлению о деяниях Спасителя и Его страстях в связи с Божьей любовью. *Fiat voluntas tua*⁹. Когда-нибудь в мировой истории воля Божья сбудется, полностью и окончательно; ибо Бога любил и поклонялся Ему Тот, кто, будучи сам божественным, способен был на преданность, соизмеримую с ее предметом.

Перед монахом возник образ Голгофы – образ, преследующий его с тех пор, как маленьким ребенком он услышал о том, что сделали злые люди с Иисусом. Картина, стоявшая перед его мысленным взором, была реальнее и ярче того, что он действительно видел на дороге под ногами. «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Жалость, любовь, обожание наполнили все его существо, словно физическое тепло, которое в то же время было болью. Сознательным усилием он изменил направление мыслей. Еще не настало время для этого акта любви и воли. Он должен еще обдумать в словах, для чего так страдал Спаситель. Он подумал о грехах мира и своих в том числе, о том, как он помогал тесать крест и ковать гвозди, плести бич и терновый венец, точить копье и рыть могилу. И все же, несмотря на это, Спаситель любит его и, любя, страдал, страдал, страдал. Страдал, чтобы оплачен был Адамов грех. Страдал, чтобы на Его примере дети Адама научились побеждать зло в себе. «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Любящий прощен; прощенный сам способен прощать; прощая, он может открыть душу Богу; открыв душу Богу, он может любить еще сильнее; и так душа может подняться чуть выше по восходящей спирали, которая ведет к полному соединению. *Ama, et fac quod vis*¹⁰.

«Да будет любовь», – повторял он, переводя молитву из медитации в Любовь, преобразуя акт рассуждающего разума в акт любящей, самоотверженной воли. «Да будет любовь». И свою

⁸ И было в мире место его (лат.). – Примеч. авт.

⁹ Да будет воля Твоя (лат.). – Примеч. авт.

¹⁰ Люби (Бога) и делай, что хочешь (лат.). – Примеч. авт.

безлюбовь, злобнодеятельное ничто, которое было им, он принес в жертву всесожжения, дабы поглотил его огонь Божьей любви.

Лишиться жизни, чтобы спасти ее. Умереть, дабы жизнь могла быть сокрыта со Христом в Боге. Умереть, умереть, умереть. Умереть на кресте смирения, умереть в непрерывном и добровольном отказе от себя, в пассивном и активном уничтожении своего «я».

Умереть, умереть, умереть, умереть... В акте искреннего раскаяния он попросил прощения у Бога за то, что еще остается собой, Жозефом Парижским, еще не вполне орудием Божьей воли, которое, даже действуя, должно пребывать в покое и оставаться отрешенным в суматохе мирских дел.

Умереть, помоги мне умереть, помоги мне любить, так чтобы можно было помочь мне умереть. Он возложил безлюбовь на внутренний алтарь и молился, чтобы ее сожгло, чтобы из пепла ее заново родилась любовь.

Его нагнал рысью молодой всадник с ярким плюмажем, в седле, украшенном серебром, с двумя кобурами, из которых торчали резные рукояти прекрасных пистолетов. Всадник перестал насвистывать и приветливо поздоровался. Монах не ответил, даже не поднял склоненной головы.

«Ты что, глухой?» – крикнул всадник, поровнявшись с капуцином. И только теперь разглядел лицо под серым капюшоном. Эти опущенные веки, губы, беззвучно и едва заметно произносящие молитву, сосредоточенное спокойствие лица смутили молодого человека и заставили умолкнуть. Он пробормотал извинения, приподнял шляпу, словно перед придорожной святыней, и перекрестился; затем пришпорил лошадь и ускакал, предоставив монаху без помех завершить акт самоотречения.

Как осмотрительно должна быть принесена эта жертва! Мягко, легко, без насады! Бывали случаи, когда Царство Небесное брали приступом. Но это не тот случай.

Насильственное уничтожение своего «я» не достигнет цели, ибо такое насилие – принадлежность всего лишь человеческой воли, и прибегать к нему – значит укреплять свою волю в противовес Божьей. В акте самоотрицания человек должен действовать без усилий; вернее, должен быть пассивен, должен позволить, чтобы на него действовала воля божественная.

В вопросе о Вальтеллине, конечно, Его Святейшество имеет больше оснований опасаться сближения Испании с Австрией, нежели сердиться на французов, вытеснивших папский гарнизон. Кардинал-племянник, вероятно, будет...

Монах снова почувствовал, что мысли о Божьих трудах затмевающим облаком встали между ним и Богом. Одолев первое побуждение страстно укорить себя – что только усугубило бы это затмение, он плавно сменил фокус внутреннего зрения, глядя мимо кардинала-племянника, мимо Вальтеллины, Испании, Франции – в сторону чистой воли Божьей, которая над ними, за ними и в них. Облако отплыло; свет снова стал доступен. Терпеливо, мягко он открывал себя очищающему и преобразующему сиянию.

Шло время, и наконец настал момент, когда ему показалось, что он готов перейти к следующей стадии созерцания. Зеркало его души очистилось, пыль и туманы, обычно повисавшие между зеркалом и тем, что оно должно было отражать, улеглись и растаяли. Если теперь он обратит свою душу к Христу, божественная форма отразится ясно и без кощунственных искажений; образ распятого Спасителя будет в нем, отпечатается на его воле, его сердце, его разуме – божественный образец для подражания, дух, воодушевляющий и наполняющий жизнь.

Он цепко держал возлюбленный образ за полуопущенными веками; на этот раз он позволил себе счастье обожания, острое до боли – это безграничное блаженство и муку сострадания, от которого он должен был отвернуться на более раннем, словесном этапе упражнения.

Страдания, страдания... Глаза его наполнились слезами. Страдания Сына Божьего, самого Бога, воплотившегося в человеке. Страдания, которые претерпел любящий Спаситель всех грешников, в том числе – и его, самого беспросветного грешника. *Recede a me, quia homo*

ressator sum¹¹. Однако Спаситель пришел и обнял этого прокаженного, и встал на колени перед ним, и омыл ему ноги. Tu mihi lavas pedes?¹² Эти ноги, что ходили во зле, покрытые грязью греха и невежества? Да, и не только омывает ему ноги, но ради грешника позволил, чтобы Его схватили, судили, насмеялись над Ним, били Его кнутом и распяли. В сердце своем он вернулся к Голгофе, к мучениям, к мучениям его Бога. И уничтожение «я», к которому он стремился, как будто совершилось в восторге преданности и сострадания, любви и боли. Он растворился в блаженном соучастии и в страданиях воплощенного Бога – воплощенного, а значит, в то же время чистого, сущностного Божества, из которого произошел Богочеловек. Это тело на кресте было невидимое, ставшее видимым. Голгофу омывал, озарял нетварный свет, единосущный с ней. Распятый Христос, поглощенный его источником и основой, исчез в свете, и не осталось ничего, кроме сияющего восторга любви и страдания. Потом, словно сгустившись, свет снова принял форму распятого Христа, и новое преображение снова приняло в себя Голгофу и славу, осиявшую ее.

Продолжая шагать, тело монаха отмеряло босыми ногами метры и минуты, часы и мили. Душа его достигла окраин вечности и в экстазе обожания и муки созерцала тайну воплощения.

Закричал осел; всадники, сопровождавшие карету, затрубили в рога, кто-то крикнул, и послышался женский смех.

Под капюшон монаха все это проникало смутно. Вечность отступила. Время и «я» незаметно вернулись и заняли свое место. Капуцин неохотно поднял голову и огляделся. Близорукие глаза его различили дом и движение людей и животных впереди на дороге. Он снова опустил взгляд, чтобы смягчить шок этого внезапного перехода из одного мира в другой, и вернулся к словесному размышлению о Слове, ставшем плотью.

На мосту была выставлена стража, проверявшая путников с севера. Капуцин отвечал на вопросы бегло, но с иностранным акцентом, и это вызвало подозрения. Его забрали в караульное помещение для допроса. При появлении монаха офицер, начальник стражи, дотронулся до шляпы, но не встал и не снял со стола ног, обутых в сапоги. Стоя перед ним и скрестив на груди руки, путник объяснил, что его зовут отцом Жозефом, что монастырь его в Париже и что он послан начальниками на собрание капитула своего ордена. Офицер слушал, ковыряя в зубах серебряной с позолотой зубочисткой. Когда капуцин кончил, он снова дотронулся до шляпы, рыгнул и сказал, что, хотя и не имеет оснований сомневаться в правдивости слов преподобного отца, некоторые злодеи, некоторые разбойники, некоторые (он выразительно взмахнул зубочисткой), некоторые враги Бога и человека не стесняются скрывать свою преступность под рясой францисканца, а потому он вынужден попросить у преподобного отца документы. Капуцин замешкался, а потом в знак согласия наклонил голову. Открыв рясу на груди, он залез во внутренний карман. Пакет, который он вынул оттуда, был завернут в синюю камку и перевязан белой шелковой лентой. Принимая пакет, офицер поднял брови и улыбнулся. Он развязал ленту и весело заметил, что в былые дни носил в таком свертке любовные письма своей подруги. Но теперь, когда в постели ревнивая жена и теща прямо поселилась в доме... Вдруг улыбка на его толстом лице сменилась удивлением, а оно, в свою очередь, – настоящей тревогой. Предметом, который он вытащил из свертка, было письмо, запечатанное королевским гербом Франции и адресованное с великолепными росчерками Его Святейшеству Урбану VIII. Он опасливо посмотрел на монаха, а потом снова на грозную надпись и устрашающую печать; потом с грохотом и звоном сбросил ноги со стола, вскочил и, сняв шляпу, отвесил глубокий поклон.

– Простите, преподобный отец, – сказал он. – Если бы я знал... Если бы вы сразу объяснили...

¹¹ Выйди от меня, потому что я человек грешный (лат.). – Примеч. авт.

¹² Тебе ли умывать мои ноги? (лат.) – Примеч. авт.

– Там еще письмо Его Преосвященству кардиналу-племяннику, – сказал капуцин, – и еще одно, если вы потрудитесь взглянуть, – послу Его Христианнейшего Величества. И наконец, мой паспорт, подписанный Его Преосвященством Первым министром...

При каждом имени офицер отвешивал поклон.

– Если бы я знал, – повторял он, пока монах складывал письма, – если бы я знал... – Оборвав себя, он бросился к двери и сердито закричал на солдат.

Когда капуцин покинул караульное помещение, по обеим сторонам моста уже была выстроена рота папских мушкетеров. Он остановился на мгновение, смиренно принял приветствие офицера, благословил его, а затем, скрестив руки на груди и опустив голову, не глядя ни налево, ни направо, босой, бесшумно и быстро зашагал между двумя рядами пик.

Глава 2

Детство и юность

Условиями, определяющими любое событие в любой части вселенной, являются предыдущие и одновременные события во всех частях вселенной. Однако, занимаясь исследованием причин того, что происходит вокруг нас, люди обычно игнорируют подавляющее большинство одновременных и предшествующих событий. В каждом конкретном случае, доказывают они, практическое значение имеет лишь небольшое число условий. Там, где речь идет о простых событиях, это, в общем, справедливо. Вот, например, кипящий чайник. Мы хотим выяснить, почему он кипит. Мы смотрим, обнаруживаем зажженную газовую конфорку, делаем опыты, которые как будто доказывают, что между кипением и подъемом температуры есть неизменная связь. И тогда мы утверждаем, что «причина» кипения в чайнике – близкий источник тепла. Это объяснение приблизительное, но для большинства практических целей достаточное. В случае простого события мы можем игнорировать все определяющие условия, кроме одного или нескольких, и при этом достаточно хорошо понимать его для того, чтобы управлять им в практических целях.

Однако в случае сложных событий это не так. Здесь практическую важность имеет гораздо большее число определяющих условий. Самые сложные события, с какими нам приходится иметь дело, – это события человеческой истории. Если мы хотим, например, установить определяющие условия войны 1914–1918 годов, нам придется – даже для таких чисто практических целей, как выработка будущей политики, – рассмотреть огромное множество «причин», прошлых и современных, местных и отдаленных, психологических, социологических, политических, экономических. Определить полный список практически важных причин, их относительную важность, природу их взаимодействия – задача крайне трудная. Настолько трудная, что она непосильна для человеческого сознания на нынешней ступени его развития. Но, увы, неразрешимость проблем никогда не мешала мужчинам и женщинам уверенно предлагать решения. Метод всегда используется один и тот же – чрезмерного упрощения. Игнорируется все, кроме того, что непосредственно предшествовало событию, и с историей обращаются так, как будто она началась только вчера. При этом все смущающие сложности отбрасываются. Люди сводятся к удобным абстракциям. Многообразие темпераментов, талантов и мотиваций уплощается до единообразия. В результате событие представляется настолько простым, что его можно объяснить всего лишь несколькими причинами, а то и одной. И этот теоретический вывод становится руководством к дальнейшим действиям. Неудивительно, что результаты разочаровывают.

Чрезмерное упрощение фатально, но полностью и точно определить все практически значащие причины сложных событий невозможно. Так неужели мы обречены на то, что никогда не сможем понять нашу историю, а следовательно, извлечь уроки из прошлого опыта? Ответ таков: хотя понимание, вероятно, никогда не будет полным, все же мы можем понять достаточно хотя бы для некоторых практических целей. Например, мы, вероятно, можем достаточно разобраться в причинах наших недавних катастроф, чтобы выработать (если того пожелаем) политику хотя бы чуть менее самоубийственную, чем та, какую мы проходили в прошлом.

Нет такого эпизода в истории, который не имел бы никакого отношения к каждому из последующих эпизодов. Но в практическом смысле некоторые события оказывают на дальнейшее больше влияния, чем другие. Этот монах, например, которого мы только что оставили на мосту, – видит Бог, он как будто бы достаточно далек от наших современных забот. Но на самом деле, если мы присмотримся к его биографии чуть пристальнее, то обнаружим, что его мысли, чувства и желания существенно повлияли на состояние мира, в котором мы живем

сегодня. Дорога, по которой ступали его босые огрубелые ноги, непосредственно вела в Рим Урбана VIII. В отдаленном смысле она привела к августу 1914 года и к сентябрю 1939-го. В длинной цепи преступлений и безумий, которая связывает современный мир с прошлым, одним из самых важных и роковых звеньев является Тридцатилетняя война. Многие потрудились, чтобы выковать это звено; но никто не усердствовал больше, чем этот сотрудник Ришелье, Франсуа Леклер дю Трамбле, в церковной истории известный как отец Жозеф Парижский, а в популярной истории – как Серое Преосвященство. Но это – отнюдь не единственное, чем он нам интересен. Если бы отец Жозеф был всего лишь мастером политических игр, не было бы причины выделять его из множества партнеров и конкурентов. Мир этого монаха был не таков, как мир обычных государственных политиков, то есть не был исключительно здешним миром. Не только умственно, но и непосредственно из живого опыта он знал кое-что о мире ином, мире вечности. Он страстно стремился стать и в какой-то мере, частью своего существа, действительно был гражданином Царствия Небесного. Единственный из государственных политиков, отец Жозеф был способен извлечь из глубин своего опыта безусловный, объективный критерий, по которому можно оценивать его политику.

Он был одним из тех, кто ковал одно из самых важных звеньев в цепи нашей злополучной судьбы; одновременно он был одним из тех, кому дано было знать, как можно избежать изготовления таких звеньев. Вдвойне поучительная с точки зрения и политической, и религиозной, его жизнь интересна еще и как удивительная психологическая загадка – загадка человека, страстно желавшего познать Бога, приобщенного к высшим формам христианского гнозиса, пережившего как минимум предварительные стадии мистического единения – и в то же время вовлеченного в придворные интриги и международную дипломатию, занятого политической пропагандой и всецело посвятившего себя политике, чьи непосредственные результаты – смерть, нищета, нравственная деградация – отчетливо проявились в каждом уголке Европы XVII века и от чьих отдаленных последствий мир страдает по сей день.

В ту весну 1625 года отец Жозеф шел в Рим уже третий раз. Цель его похода была дипломатическая и религиозная. От имени французского правительства ему предстояло вести переговоры о Вальтеллине и проходах, соединявших испанские владения в Италии с империей Габсбургов за Альпами. Для своего ордена он должен был получить разрешение на организацию нескольких миссий. Сам же он лично хотел обсудить с папой и кардиналом-племянником свой заветный план крестового похода против турок. Куда бы он ни явился в Риме, он будет говорить авторитетно и будет выслушан с вниманием и почтением. Этот босоногий монах был доверенным советником и правой рукой кардинала Ришелье. И задолго до того, как Ришелье пришел к власти, он был доверенным лицом и агентом Марии Медичи и некоторых других персон, почти столь же влиятельных. Ришелье возглавляет Государственный совет всего год; а отец Жозеф Парижский известен Римской курии и уважаем ею уже больше десяти.

Сейчас, в 1625 году, ему сорок восемь лет, и впереди у него еще тринадцать – тринадцать лет, в течение которых его политическая власть будет непрерывно возрастать. Не пройдет и половины этого срока, как он займет место среди пяти или шести самых влиятельных людей в Европе – и среди двух или трех самых проклинаемых. Но прежде чем проследить последние этапы этой странной карьеры, вернемся к ее началу.

Франсуа Леклер дю Трамбле, старший сын Мари де Лафайетт и Жана Леклера, начальника канцелярии и заведующего приемом прошений во дворце герцога Алансонского, родился четвертого ноября 1577 года. По отцовской линии он происходил от династии выдающихся юристов и администраторов. Семья матери принадлежала не к дворянству мантии, а к землевладельческой знати. Ее отец, Клод де Лафайетт, владел четырьмя баронскими поместьями, и одно из них он завещал своему внуку Франсуа, который во время его недолгого пребывания при дворе был известен как барон де Маффлие. Клод де Лафайетт и его жена, Мари де Сюз, были кальвинистами; но, обремененные шестью дочерьми и, несмотря на четыре баронских

титула, располагая небольшим капиталом, они воспитали Мари в католичестве, с тем, чтобы можно было сдать ее в монастырь и не тратиться на приданое. Заметим, кстати, что подобные сделки во Франции того периода были не редкостью. Религиозные войны шли своим чередом, гугенотов временами резали, временами терпели, но французские семьи своего шанса в любом случае старались не упустить. Так, в тех областях страны, где католиков и протестантов было примерно поровну, родители растили дочерей вне определенного вероисповедания. Когда появлялся подходящий поклонник, девушку можно было спешно обучить и конфирмовать в той вере, которую исповедовал ее будущий муж. Не слишком «героический» способ разрешения религиозных противоречий в смешанном обществе; но во всяком случае он действовал, способствовал миру и спокойствию.

Одно время модно было считать, что причины раздоров – как правило, экономические. Это далеко от истины. Многие из них имеют чисто идеологическое происхождение. В этих случаях соображения экономической выгоды нередко вмешиваются самым благоприятным образом и снижают градус теологической ненависти.

Дочку де Лафайеттов спасла от монастыря дальняя родственница ее матери, бывшая фаворитка Франциска I Анна, герцогиня Этампская. Эта отставная любовница короля была теперь благожелательной старой дамой лет семидесяти и добрым другом Леклеров. Она устроила брак своей молодой родственницы с Жаном Леклером, и она же пополнила небогатое приданое Мари значительной суммой из собственного кошелька. Брак, оказавшийся счастливым, заключили в 1574 году, а первый ребенок родился, как мы видели, в 1577-м и получил имя Франсуа. (Не был ли вложен в это тонкий комплимент старой герцогине? Кто знает?) Через год появилась на свет его сестра Мари. Шарль, младший из трех детей Леклеров, родился лишь в 1584 году.

Уже в раннем детстве Франсуа показал себя странным и замечательным ребенком. Шустрый и в то же время задумчивый, он был деятелен, но любил оставаться в одиночестве и думать о чем-то своем. В обществе он держался особняком, и мир, в котором он обитал, был другим недоступен. Эта скрытность, однако, не означала отсутствия сильных чувств. Он горячо любил отца и мать; был очень привязан к дому, к слугам, собакам и лошадям, голубям, домашним уткам, соколам. Бурные порывы, приступы не только страстной любви, но и ненависти, и гнева, были важным элементом его потаенного мира; но даже в детстве они существовали за железной стеной самообладания, сознательной сдержанности, не выражаясь ни в словах, ни в тех бесчисленных мелких поступках, посредством которых экспансивная натура так легко дает выход своим чувствам. Франсуа «давал себе волю» только в тех ситуациях, когда лично и непосредственно это не затрагивало других людей. Он мог испытывать горячий энтузиазм по поводу каких-то вещей и идей; но всякое выражение эмоциональной близости с людьми ощущал как неприличие и избегал его.

В умственном отношении мальчик был развит необыкновенно. Когда Франсуа было десять лет, учителя поручили ему произнести часовую речь памяти Ронсара по-латыни перед большой и блестящей аудиторией. Если бы большая блестящая аудитория поняла его, он мог бы произнести не менее эффектную речь на греческом языке, который он выучил почти в таком же раннем возрасте, как Джон Стюарт Милль, и по той же разговорной методике, по какой Монтеня обучали латыни.

Не только интеллектуально он был развит не по годам, но и в религиозном отношении далеко опережал свой возраст. Однажды, рассказывают нам, когда его родители принимали важных гостей, его, четырехлетнего, пригласили к обеденному столу. Попробуем воссоздать эту сцену на основе беглого телеграфного описания, данного первым биографом отца Жозефа, и рассказать о ней языком, более подобающим случаю.

Рядом с гордой, но несколько обеспокоенной матерью сидит маленький мальчик в миниатюрном костюме взрослого покроя; он выглядит до неприличия «мило» в бордовом камзоле

и накрахмаленных брыжах. С другого конца стола отец велит ему подняться, и он повинуетсЯ с младенческой серьезностью, которая всех приводит в восторг. Его спрашивают, кем он намерен стать, любит ли он свою малышку-сестру и скоро ли будет учиться ездить верхом. Затем магистрат задает ему двусмысленный вопрос. Наивность ответа вызывает смех, ребенку совершенно непонятный. В глазах у него слезы; мать сажает его на колени и целует. Гости возвращаются к еде, мальчика пересаживают на табурет и дают ему конфету, которую он ест молча. О нем забыли. И вдруг, когда в общей беседе наступает пауза, он кричит через стол отцу: можно он что-то расскажет? Мари пытается его остановить; но Жан Леклер снисходителен – пусть Франсуа рассказывает, если хочет. Мальчик встает на табуретку. Улыбающиеся гости готовятся перебивать и аплодировать. Но после первых слов лица у взрослых становятся серьезными, они глубоко растроганы и внимают молча. Мальчик рассказывает им то, что недавно услышал от одного из слуг, – рассказывает о страстях Христовых. Рассказывает о бичевании, о терновом венце. Когда он доходит до распятия, голос у него начинает дрожать, и он разражается рыданиями. Мать берет его на руки и пытается утешить; но горе его безутешно. В конце концов она вынуждена унести его из зала.

Ребенок – отец мужчины. Этому маленькому мальчику, горящему о смерти его Спасителя, суждено было стать основателем, а затем, в течение многих лет, опекуном и духовным руководителем нового реформированного монашеского ордена кальварианок, чей духовный труд посвящен был страдающей матери у подножия креста. Также ему суждено было стать государственным деятелем, вовлеченным в опаснейшую политику и, по-видимому, совершенно безразличным к ужасным страданиям, этой политикой порожденным. Мальчик, оплакивающий Иисуса, взрослый мужчина, созерцающий и других обучающий созерцать страдания на Голгофе, – неужели они были отцом и братом сотруднику Ришелье, человеку, который делал все возможное, чтобы продлить Тридцатилетнюю войну? Это – вопрос, на который мы в надлежащем месте попытаемся найти ответ. А пока что вернемся в XVI век, к его детству.

В возрасте восьми лет Франсуа дю Трамбле отправили в Парижскую школу-интернат. Вернее, он отправился туда по собственной воле – он действительно попросился из дому на том основании, что его балует мать, *qui en voulut faire un délicat*¹³. Опять-таки, ребенок – отец мужчины. Этот маленький спартанец вырос в воинствующего капуцина, умерщвлявшего себя всеми способами и сверх необходимого, – а затем в босоногого политика с тонзурой, который даже в зените своей власти, даже одолеваемый крайней усталостью и болезнями, упорно отказывался от каких-либо послаблений в том, что предписывалось правилами францисканского ордена.

В Коллеже де Бонкур Франсуа совершенствовался в греческом и латыни и, без сомнения, подвергался побоям, терпел притеснения от старших и плохо питался, как и все мальчики в закрытых школах того времени.

Среди его соучеников и друзей в Бонкуре был тот, о ком нам придется еще много узнать в одной из последующих глав этой книги, – Пьер де Берюль, будущий кардинал, основатель Оратория и влиятельнейший представитель французской школы мистицизма, расцвет которой приходится на первую половину XVII века. Как и Франсуа, Пьер был не по годам серьезен. С раннего детства набожность его была пламенной и вместе с тем интеллектуальной, стихийной и ученой. В двенадцать лет, как рассказывает нам молодая дама-протестантка, впоследствии ставшая кармелиткой, он мог рассуждать о теологии, как доктор Сорбонны. В восемнадцать он был таким сильным и острым полемистом, что гугенотские священники боялись вступать с ним в публичную дискуссию.

Пьер был на два года старше Франсуа и еще более развит интеллектуально. Кроме того, как и младший, он уже был глубоко религиозен. Это была дружба двух будущих богословов и мистиков. Можно вообразить себе этих странных детей, сидящих в сторонке, в углу школьной

¹³ Которая хотела сделать из него неженку (фр.).

игровой площадки, обнесенной стеной. Остальные ребята играют в мяч или обмениваются обычными глупыми шутками, которые кажутся мальчишкам бесконечно смешными. Серьезно и страстно два дисканта, Пьер и Франсуа, обсуждают глубочайшие проблемы метафизики и религии.

Когда Франсуа было десять лет, произошло событие, которое, вероятно, дало пищу для многих таких дискуссий о смысле жизни и природе Бога и человека. В 1587 году умер Жан Леклер дю Трамбле. Франсуа любил отца со всем жаром своей страстной, глубокой и скрытной души. Горе его было велико; и когда первый приступ прошел, у него осталось дремлющее в обычное время, но всегда готовое выйти на поверхность неотступное ощущение тщетности, временности, безнадежной шаткости всякого чисто человеческого счастья.

Это недетское убеждение, что наш мир – падший, подтверждалось всем, что слышал и видел вокруг себя Франсуа. По всей Франции члены Священной лиги и гугеноты с помощью своих иностранных союзников старательно пытались сделать со своей несчастной страной то, что сделали поколением позже лютеране и сторонники императора при поддержке своих союзников с Германией. По ряду причин Лиге и гугенотам не удалось разрушить Францию так, как впоследствии сумели разрушить Германию политические друзья отца Жозефа. Пятнадцати лет мира и разумного управления при Генрихе IV было достаточно, чтобы вернуть страну к процветанию, – чтобы откормить ее, как рождественскую индейку, к приходу мытарей Ришелье. Но пока продолжались религиозные войны, Франции пришлось пережить все ужасы резни и грабежей, голода и эпидемий, беззакония и политической анархии. Те, кто уцелел в этом кровавом хаосе, оценили преимущества порядка и института монархии, который только и мог тогда этот желанный порядок обеспечить. В то же время присутствие иностранцев – испанцев, немцев, англичан, ведущих войны на французской земле и пользующихся слабостью Франции, – способствовало усилению французского патриотизма. В годы гражданских войн и иностранной интервенции Франсуа Леклер и стал тем, кем оставался до конца жизни, – убежденным сторонником абсолютной монархии и ярким националистом. Политические убеждения у него были детально обоснованы теологически, и это основание придавало им дополнительную силу; но всегда надо помнить, что источником их была не какая-то абстрактная теория, а грубые факты его раннего опыта.

В 1585 году жизнь в Париже стала настолько опасна, что мадам Леклер решила переехать с семьей в Ле Трамбле, близ Версаля, где у нее был укрепленный дом и целый отряд арендаторов и работников для защиты. Здесь Франсуа продолжил свое образование с частным учителем, которому дал любовно-уважительное прозвище – Минос. Теперь в круг его занятий вошли иностранные языки, в особенности испанский и итальянский, на которых он впоследствии научился писать и говорить почти так же хорошо, как на родном, начатки древнееврейского, философия, юриспруденция и математика. В перерывах между занятиями он учился ездить верхом и стрелять из аркебузы, с удовольствием бродил один по лесу и предавался чтению. Книг в Ле Трамбле было немного; но среди них – перевод «Жизнеописаний» Плутарха и жития – по большей части отшельников. Эти две книги он читал и перечитывал. Плутарх развил его природный вкус к героизму и деятельной жизни; а под влиянием отшельников подспудное ощущение мирской тщеты усилилось настолько, что вдохновило его на написание небольшого трактата о преимуществах религиозной жизни. Франсуа закончил трактат незадолго до своего двенадцатилетия, и стилем его восхищались. Ни у кого, даже у матери, не достало прозорливости понять, что существенным в его отроческом опусе была не вымученная, нелепая эlegantность письма, старательно подражавшего известным образцам, а раннехристианское содержание. В этом довольно претенциозном абстрактном труде ребенок неявно выразил желание посвятить себя религии. Через два с половиной года, когда ему было четырнадцать, он сделал первую – преждевременную – попытку это желание осуществить.

Этот очень важный эпизод восемь лет спустя был описан самим Франсуа, когда ему, послушнику-капуцину, начальство велело рассказать историю своего призвания. Документ этот, под занятным названием «Discours en forme d'Exclamation»¹⁴ сохранился до наших дней. Вот как, вкратце, там описаны эти события 1591 года.

Мадам Леклер уехала по делам, оставив троих детей на попечение одного из соседей-помещиков. Дом был веселый, шумный, с целой стаей девочек. Одна из них, сверстница Франсуа, все сильнее привлекала его внимание. Он знал ее с детства (возможно, она была дальней родственницей), но до сих пор ни она, ни другие девочки не вызывали у него особого интереса. Теперь все изменилось. На покаянном языке его автобиографии, «его вожделения утрастились» и, «трепеща от смущенной радости, он увидел эту девушку глазами иными, нежели те, какими обладал прежде». Это была юношеская всепоглощающая страсть, восторг, над которым глупо насмеются взрослые, называя его «телячьим», хотя ничего столь же бурного, мучительно-напряженного в дальнейшей жизни, возможно, и не будет. Когда любила и умерла Джульетта, ей было столько же, сколько Франсуа во время его первых и последних сердечных терзаний, – четырнадцать лет.

«Все ее лицо, – писал послушник-капуцин в своем «Рассуждении в форме восклицания», – все ее лицо сияло, ее взгляды метали молнии». Вскоре Франсуа уже «ничего не видел, кроме нее; уши его были глухи ко всякой речи, кроме ее; он отдал ей все сердце и, кроме нее, нигде не находил покоя».

С самого начала это была стесненная страсть, омраченная чувством вины. Герои Плу-тарха всегда были готовы напомнить ему, что любовь – враг высоких устремлений; отшельники свидетельствовали о тщете человеческих желаний; а когда он молился, прежняя связь между его душой и ее Богом и Спасителем не действовала. Это преображенное лицо, это молодое роскошное тело, запах ее волос, бешеный стук собственного сердца – они стояли на пути его молитвы, заполняли все поле внутреннего зрения, затмевая Бога. Но однажды что-то произошло. Он играл в карты со всей компанией – полудюжиной *jeunes filles en fleur*¹⁵, среди которых была его любимая, «смеялся и шутил, не закрывая рта», как вдруг ни с того ни с сего подумал: чем он занят? – и с ужасающей ясностью осознал всю бессмысленность своего занятия. Он был в ужасе. Большинству из нас, я думаю, приходилось пережить нечто подобное – очнуться от сна повседневной жизни и вдруг осознать себя и природу окружающего.

Вечеринка ли это в гостиной?
Люди теснятся, как на земле теснились,
Кто пунш отхлебывает, кто чай,
И все безмолвны,
Все немые и обречены¹⁶.

Вдруг осознать, что ты сидишь, обреченный, среди других обреченных, – весьма обескураживающее переживание; настолько обескураживающее, что большинство из нас под его влиянием еще увлеченнее предается своему разрушительному занятию в надежде – как правило, оправдывающейся – хотя бы на время заслониться от беспощадного прозрения. Франсуа был одним из тех, для кого подобное поведение невозможно. Сокрушительное понимание того, чем он занят, почти сразу сменилось ощущением присутствия Бога – ощущением, которое доставило ему настолько сильную радость, что тут же, за карточным столом, он чуть не лишился

¹⁴ «Рассуждение в форме восклицания» (фр.).

¹⁵ Девушек в цвету (фр.).

¹⁶ У. Вордсворт, «Питер Белл».

чувств. Сидевшие рядом заметили его бледность и поспешили вывести его на воздух. Когда они вышли в сад, колокола звонили к вечерне. Франсуа сразу предложил всем идти в церковь.

Стоя на коленях перед алтарем, он ощутил тягу двух несовместимых сил – любви земной и любви небесной. Рядом на коленях стояла девушка, чье красивое личико, преображенное его страстью, сияло, как лицо человека, узревшего Бога; перед ним над алтарем была фигура распятого Спасителя. Внутренняя борьба закончилась тем, что Франсуа уже не видел ничего, кроме «ног Христа, прибитых к кресту и будто ждавших его, рук Христа, распростертых, чтобы принять его». Перед этим образом страданий он поклялся полностью посвятить себя служению Богу. Вернувшись в дом, он немедленно стал готовиться к бегству в Париж. Он выскользнет ночью, поменяется одеждой с первым же бедным мальчиком, встреченным на дороге, он пройдет двадцать миль до города и попросится в тот картезианский монастырь, который часто посещал ребенком, пять или шесть лет назад. Это был безрассудный план, и слуга, которому он открыл его в тот вечер, так ему сразу и сказал. Франсуа, чья природная порывистость всегда сдерживалась здравым смыслом, понял, что выполнять свою клятву тайком не годится, и решил не убегать. На другой день ему представилась возможность вступить в Божью битву со своими желаниями. Соседи устраивали большой праздник и пригласили всю молодежь. Будут танцы, конечно, и музыка, вино, огни – увеселения тем более пьянящие, что они так редки у детей, выросших за городом. И ночью, конечно, по дороге домой, в колышущемся экипаже, для утомленных весельем – сколько возможностей пошептаться, тайком подержаться за руки, прикоснуться друг к другу. Влюбленному такой случай нельзя упускать ни за что; вот почему, даже с риском показаться невежей и бирюком, юный Франсуа решил уклониться от участия. В тот день он много молился, прося дать ему сил, и, когда девушки нарядились и карета уже была у дверей, он сумел устоять перед их уговорами, даже перед уговорами возлюбленной. Уехали без него. Это была победа – но победа, за которой последовало через несколько дней поражение. Не прошло и недели, как Франсуа снова был поработан своей страстью. Только теперь он еще больше страдал от укуров совести.

Это мучительное положение сохранялось четыре месяца. Но затем случились два происшествия, которые послушник-капуцин мог объяснить только Провидением. Играя аркебузой, Франсуа едва не убил свою мать. (Мадам Леклер вернулась, и они снова жили в Ле Трамбле.) И почти в то же время банда солдат-мародеров, проходившая мимо дома, выбросила из сумок среди прочих ненужных трофеев потрепанную книгу под названием «Варлаам и Иосаф».

Благодарный за спасение матери, чуть не погибшей из-за его неосторожности, Франсуа повторил свои обеты. На этот раз решение было бесповоротным. С такой яростью порвал он путы предыдущих месяцев, что «едва мог смотреть» на девушку, чьих ласк страстно желал еще недавно. При этом в нем поселился настоящий ужас перед женщинами вообще и перед плотской любовью. Этот ужас он пронес через всю жизнь. Он мог забыть о нем, конечно, но в миру, без божественного присутствия, это отвращение преследовало его. В зрелые годы отец Жозеф избегал прямых и слишком близких контактов даже со своей сестрой. «Я не хочу, – говаривал он, – я не хочу видеть их пол (это любопытное наименование женщин, принятое в XVII веке, должно быть, доставляло ему особое удовольствие) иначе как запертым и скрытым от глаз, подобно многим тайнам, взирать на которые можно только с ужасом». Другими словами, приемлемой для него была только женщина в монастыре, переносимым общением с ней – только через решетку исповедальни или приемной монастыря. В остальном «посещать их можно только как диких зверей, которых предпочтительно видеть на расстоянии». Отвращение это, надо полагать, было пропорционально накалу его прежней страсти и величине усилий, употребленных для того, чтобы с ней совладать.

А теперь – о старой книге, выброшенной прохожими солдатами. Франсуа ее подобрал, прочел и сразу, как он говорит, «в нее влюбился». Словно голос Божий заговорил с ее страниц,

утверждая его в принятом решении и, в качестве утешения, суля покой и счастье духовной жизни.

В новое время вокруг этой нравоучительной истории, во многом предопределившей будущие занятия отца Жозефа, выросла целая литература. «Варлаам и Иосаф» – важный исторический курьез. Ибо эта средневековая повесть об индийском принце, который ведет жизнь, полную наслаждений, будучи так воспитан слишком заботливым отцом, а затем вступает на путь созерцания под руководством отшельника, – не что иное, как христианизированная биография Гаутамы Будды. Не только сюжетно, но и в деталях и даже в формулировках «Варлаам и Иосаф» воспроизводит написанную на санскрите «Лалитавистару». Мало того. Само имя принца выдает его происхождение. Повесть была переведена на греческий с арабского перевода, а арабские буквы, соответствующие У и В, легко спутать. Иосаф – искаженное Бодисат. Ученик Варлаама – Бодисатва или будущий Будда. Одна из трагедий истории в том, что христианский мир ничего не знал о буддизме, кроме этого искаженного перевода полулегендарной биографии его основателя. В учениях первоначального, южного буддизма католицизм нашел бы весьма полезные коррективы для своей на удивление произвольной теологии с элементами первобытной жестокости, унаследованными от наиболее суровых частей Ветхого Завета, с его постоянной и опасной поглощенностью мучениями и смертью, с его тщательно обоснованной верой в магическую действенность обрядов и таинств. Но увы, для Запада Просветленному суждено было оставаться до самого последнего времени всего лишь героем поучительной сказки.

В 1594 году Генрих IV, прослушав мессу, обосновался в Париже. Был восстановлен порядок; жить в городе стало безопасно. Мадам Леклер вернулась в Париж, и Франсуа отправили учиться в университет – вернее, в то, что осталось от него после религиозных войн, а осталось так мало, что через несколько месяцев молодой человек решил перейти в другое учебное заведение, Академию, руководимую Антуаном де Плювиелем.

Во Франции XVI века Академия была чем-то вроде пансиона для благородных молодых людей. Преподавали там, среди прочего, искусство верховой езды, математику, фортификацию и фехтование, шагистику, каллиграфию и хорошие манеры. В Академии Плювиеля, самой аристократической и модной из французских академий, курс наук был рассчитан на два года; но блестяще образованному Франсуа Леклеру дю Трамбле удалось постигнуть благородные науки меньше чем за год. К осени 1595 года он был готов отправиться в свой «Гран тур»¹⁷. В обществе верного старого слуги и десяти или двенадцати других молодых аристократов он поехал в Италию. А что Варлаам и Иосаф? Что с отшельниками, трактатом о религиозной жизни, обетами у Распятия? Ускользнули из памяти? Отброшены нетерпеливо вместе с другими детскими глупостями? Отнюдь нет. Ничто не забыто, прежние решения оставались в силе. Он только ждал нужного момента, окончательного и недвусмысленного зова, который мог раздаться очень скоро; но мог задержаться и на годы. Пока что он будет слушаться матери и выполнять все обязанности, лежащие на человеке его сословия. Для других молодых людей в его компании эта поездка была первой счастливой возможностью освободиться от родительской опеки – причем в обетованной стране, где ходят *Sonneti Lussuriosi*¹⁸ с гравюрами Джулио Романо. Для Франсуа же, напротив, поездка была лишь очередным этапом в процессе образования, которое должно подготовить его физически и духовно к исполнению – на стезе, пока еще не определенной, – воли его Бога и Спасителя.

Твердо исполняя обет безбрачия, данный после случая с аркебузой, твердый в своем отвращении к женщинам, он не боялся искушений, которым радостно готовились уступить его

¹⁷ Большое путешествие (фр.).

¹⁸ «Сладострастные сонеты» (ит.).

спутники, направлявшиеся вместе с ним из Парижа на юг. Италия научит его только тому, что правильно и необходимо ему; ничему больше.

За границей Франсуа не терял времени. Во Флоренции он обучался языку, фехтованию и, главное, искусству верховой езды, которым в то время славились итальянцы. Он был превосходным наездником и обожал лошадей и все тонкости конного спорта, но вскоре вынужден был пожертвовать своей страстью ради религиозного призвания – ибо капуцину дозволено передвигаться только пешим способом и босиком. Из Флоренции он отправился в Рим, где получил возможность кое-что узнать о папском дипломатическом ведомстве, по ловкости не знавшем себе равных в Европе. Двинувшись обратно, на север, Франсуа останавливался в Лоретто по религиозным причинам; в Болонье, чтобы посетить университет; в Ферраре, чтобы засвидетельствовать почтение герцогу и ознакомиться с Его Высочества музеем естественной истории; и наконец, в Падуе, где он пробыл дольше, изучая юриспруденцию. Письма к матери, написанные им в то время, пропали. А жаль: было бы интересно узнать, познакомился ли он с Галилеем, преподававшим тогда в Падуе, и какие темы обсуждались на тех неформальных встречах, которые устраивали у себя дома преподаватели в неучебные часы. Из Падуи молодой человек проследовал в Венецию, которая дала приют множеству ученых-эмигрантов из Византии и была наилучшим местом в Европе для изучения греческого языка. Затем он отправился через Альпы в Германию и узнал, по крайней мере, как выглядела эта страна до Тридцатилетней войны. Не прошло в общей сложности и года, как он вернулся в Париж. Когда молодого барона де Маффлие представили ко двору, он произвел там прекрасное впечатление. Габриэль д'Эстре, молодая любовница короля (она была всего двумя годами старше Франсуа), назвала его «французским Цицероном наших дней». Монарх выражался не столь восторженно, но тоже обратил благосклонное внимание на юношу. Ничего удивительного. Франсуа выделялся не только аристократической и несколько хищной красотой; он был, кроме того, очень умен; вел себя не по годам осмотрительно; обладал изысканными манерами; мог поддерживать увлекательную беседу о чем угодно – но никогда не теряя сдержанности, не забывая об осторожности, с помощью которой умерял свой энтузиазм, свое буйное воображение, свои порывы к немедленному поступку. Впоследствии кардинал Ришелье придумает для своего старого друга и соратника два прозвища – Иезекили и Тенеброзо-Кавернозо¹⁹

¹⁹ От *um.* Tenebroso – «темный», Cavernoso – «пещерный».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.